

ИЗРАЗЕЦ

Ты помнишь день: замерзла ртуть; и солнце
Едва всплыло в карминном небосклоне,
Отяжелевшее; и снег звенел;
И плотный лед растрескался звездами;
И коршун, упредивши нашу пулю,
Свалился вдруг. Ты выхватил кинжал
И пальцем по клинку провел, и вскрикнул;
На сизой стали заалела кожа,
Отхваченная ледяным ожогом...

Не говори о холоде моем.

Надпись на статуе.

В полдень и полночь
Ты можешь
Ощупать
Сей камень прохладный,
Все
Изгибы его
Чуткой изведать рукой,
И,
Чтобы радость твоя
Стала полной
И веской,
И вечной,—
Хладное имя ему
Пусть изваяет
Поэт.

Поэту.

Да, стиснуть зубы, губы сжать, как шпагу
Перо в тугие пальцы вплавить, сердце
Взнуздать и мысль рассечь ланцетом—вот
Поэта полуночный подвиг.

Да, только в молниевой игре, во вздохах
Насоса нагнетательного, в звонах
Дрожащих иступленных рычагов,
В порхании, в свистящем лете поршней,
Отмеривающих стихи и строфы,
Ты золото из глубины подымешь
И вверх его по жолобу косому
Тяжелой песней устремишь. А там—
Пусть сыплется густым золотопадом,
Расплескиваясь о землю, вдробь зернится,
В мельчайший бисер. Ах, не все ль равно:
Ветр дует в парус и подолы крутит,
Но мчится, мчится, мчится. Будь и ты
Подобен ветру. Но стреми не воздух,
А вескую, а золотую жидкость,—
Настой давно угаснувшего солнца.

Окном охвачены лиловые ~~лиловые~~, *хребты*,
Нить сизых облаков и пламень Антареса.
Стихи написаны. И вот приходишь ты:
Шум моря в голосе и в платье запах леса.

Целую ясный лоб. О чем нам говорить.
Стихи написаны. Они тебе не любы.
А чем, а чем иным могу я покорить
Твои холодные сейчас и злые губы.

К нам понадвинулась иная череда,
Влеченья чуждые тебя томят без меры.
Ты не со мною вся, и ты уйдешь туда,
Где лермонтовские скучают офицеры.

Они стремили гнев и ярость по Двине,
Пожары вихрили вдоль берегов Кубани,
Они так нехотя расскажут о войне,
О русском знамени и о почетной ране.

Ты любишь им внимать. И покоряюсь я.
Бороться с доблестью — я не имею силы :
Что делает перо противу лезвия,
Противу пламени спокойные чернила.

Поединок роковой.

Я тихо спал. И в мой пригретый хлев
Вошла, шатаясь, пьяная старуха
И прыгнула. И на плечах почуя
Костлявый груз, я вымчался из хлева.
Луна в глаза ударила. Туман
Затанцовал над дальними прудами.
Жерлянки дробным рокотом рванули.
И тень моя горбатая, как пух
Комком по светлым травам покатилась.
И чем сильнее острые колени
Мне зажимали горло, чем больнее
Меня явил и шпорил хлыст колючий, —
Тем сладостнее расбухало сердце
И тем гневнее накалялась мысль.
И длился бег. Выкатились глаза.
И ветер пену с губ сдувал. И чую:
Бежать немоготу. И сжавши ребра,
И в спазме смертной зубы раскрошив,
Я вывернулся вдруг прыжком змеиным,
И захрустела старческая шея,
Мною придавленная. Свист гремучий

Взвился над взбеленившимся хлыстом.
И—понеслись: Не успевал дышать.
И тень отстала и оторвалась.
Луна и ветер в один звенящий крутень
Смешались. И невзнузданная радость
Мне горло разнесла. И вдруг старуха
Простонет: Не могу... и рухнула.
Стою. Струна еще звенит в тумане.
Еще плывет луна, и блеск, и тренет
Не отстоялись в сердце и глазах.
А предо мной раскинулась в траве
И кроткими слезами истекает
Исхлестанная девушка,—она,
Любовь моя, казненная безумцем.

Плитный двор пылает в летнем полдне.
Жалюзи прищурились дремотно.
Низенькое устье корридора
Обнимает ясною прохладой.
Прохожу по чистым половицам,
Открываю медленные двери,
И в задумчивый уют гостиной
Незаметно поникает сердце.
Раковины на стеклянной горке,
На воде аквария скорлупка,—
Судно, на стене в овальной раме
Ястребиный профиль Альфиери.
И хозяйка в кружевной мантилье,
В бирюзовых кольцах и браслетах,
Старчески-неспешно повествует
О далеком, о родном Палермо.
А в руках приметна табакерка,
Где эмаль легко отпечатлела
Гиацинт кудрей и рот двулукий,
И прикрытых глаз глубокий оникс.
Все в минувшем... Лишь глаза все те же.
Да—браслет и кольца голубеют,
Свежей бирюзой напоминая
Родины немеркнувшее небо.

Вон парус виден. Ветер дует с юга.

И, значит правда, к нам плывет
Высокогрудая турецкая фелюга
И золотой тяжелый хлеб везет.

И к пристани спешим, друг друга обгоняя:

Так сладко вскрыть мешок тугой,
Отборное зерно перебирая
Изголодавшейся рукой.

И опьяненные сказанья возникают

В Тавриде нищей—о стране,
Где злаки тучные блистают,
Где гроздья рдяный сок роняют,
Где апельсины отвисают,
Где оседает золото в руне.

Придет поэт. И снова Арго старый
Звон подвига в упругий стих вошьет,
И правнук наш, оваян смутной чарой,
О нашем времени томительно вздохнет.

Встало утро сухо-золотое.
Дальние леса заголубели.
На буланом склоне Карадага
Белой тучкой заклубились козы.
А всю ночь мне виделась могилы.
Кипарисы в зелени медяной,
Кровь заката, грузное надгробье,
И—мое лицо на барельефе.
А потом привиделось венчанье.
В церкви пол был зеркалом проложен,
И моей невесты отраженье
Яхонтами алыми пылало.
А когда нам свечи засветили,
И венцы над головами вздели,
Почернели яхонты, погасли,
Обратились высохшею кровью.
Я проснулся долго до рассвета,
Холодел в блуждающей тревоге,
А потом открыл святую книгу,—
Вышло Откровенье Иоанна.
Тут и встало золотое утро,
И леса вновь родились в долинах,

И на росном склоне Карадага
Белым облачком повисли козы.
Я и взял мой посох кизилковый,
Винограду, яблоков и вышел,
Откровенье защитив от ветра
Грубым камнем с берега морского.

Лес темной дремой лег в отеках гор,
В ветвях сгущая терпкий запах дуба.
С прогалины гляжу, как надо мною
Гигантским глобусом встает гора.
А подо мной размытые долины
В извилинах как обнаженный мозг,
И бронзовые костяки земли
Вплавляются в индиговое море.
Втыкая палку в подвижную осыпь,
Взбираюсь по уклону. Рвется сердце,
И мускулы усалых ног немеют,
И сотрясается, клокоча, грудь.
Вот весь внизу простерся полуостров.
Синеет бледная волна Азсва,
И серым паром за тончайшей Стрелкой
Курится и колеблется Сиваш.
А впереди прибоем крутолобым
Застыли каменные хребты,
Все выше, все синее, встали взмыли,—
Прилив гранита, возметенный солнцем.
А солнце истекая кровью чермной,
Нещадные удары за ударом
Стремит в меня, в утесы, в море, в небо,

А я уже воздвигся на вершине,
Охваченный сияющим простором,—
И только малые подошвы ног
Меня еще с землей соединяют.
И странный гул клубится в тишине.
Не шум лесной, не мерный посвист ветра,
Как бы земля в пространстве громыхает,
Гигантским в небе проносясь ядром,
Иль это Бог в престольной мастерской
Небесных сфер маховики вращает.
И руки простираются крестом,
И на руках стигматы пламенеют,
И как орган плывет медовым гудом
Всколебленная вера и любовь...
И я повелеваю Карадагу
Подвигнуться и ввергнуться в волну.

Закрыв глаза, пересекаю брег.
Прибоя гул растет и подавляет.
И обожженный хладным брызгом влаги
Я останавливаюсь и гляжу.
Как тусклы лопасти стальных валов,
Как бледны свитки фосфористой пены,
И крупные алмазы Ориона
Дробятся в возметенной глубине.
О море. Родина. Века веков
Я полыхал сияньем фосфористым
В твоей ночи. На рыбьей чешус
Я холодел сапфиром и смарагдом.
Я застывал в коралловую известь
В извилах древовидных городов.
И вот теперь, свершась единым сгустком
Несу в себе дыхание приливов,
И кровь моя как некогда нагрета
Одною с южным морем теплотой...
Стою. И слушаю. Клубится гул.
В глухих глубинах беглый огонь мерцает,
И, побежденный подвижным магнитом,
В разбег волны я медленно вхожу.

Поэтам.

Друзья. Мы—римляне. И скорби нет предела.
В осеннем воздухе разымчиво паря
Над гордым форумом давно отпламенела
Золоторжавая закатная заря.

Друзья. Мы—римляне. Над форумом державным
В осеннем воздухе густеет долгий мрак.
Не флейты слышатся: со скрином своенравным
Телеги тянутся, клубится вой собак.

Друзья. Мы - римляне. Мы истекаем кровью.
Владетели богатств, не оберегши их,
К неумолимому идем средневековью
В печалях осени, в томлениях ночных.

Но будем—римляне. Коль миром обветшалым
Нам уготован путь по варварской земле,
То мы труверами к суровым феодалам
Пойдем, Орфеев знак наметив на челе.

Вливаясь в музыку, рычанье бури—немо.
Какое торжество, друзья, нас озарит,

Когда от'яв перо от боевого шлема,
Его разбойник-граф в чернила погрузит.

Пусть ночь надвинулась. Пусть мчится вихрь
пожара,—

К моим пророческим прислушайтесь словам:
Друзья. Мы --римляне. И я приход Ронсара
В движении веков предвещаю вам.

Державин.

Он очень стар. У впалого виска
Так хладно седина белеет,
И дряхлая усталая рука
Пером усталым не владеет.

Воспоминания.. Но каждый час
Жизнь мечется, и шум тревожит.
Все говорит, что старый огонь погас,
Что век Екатерины прожит.

Вот и вчера. Сияют ордена,
Синеют и алеют ленты,
И в том дворце, где медлила Она,
Мелькают шумные студенты.

И юноша, волнуясь и летя,
Лицом сверкая обезьяньим,
Державина, беспечно, как дитя,
Обидел щедрым подаяньем.

Как грянули свободные слова
В равеньи и сцепленьи строгом

Хвалу тому, чья никла голова,
Кто перестал быть полубогом.

Как выкрикнул студенческий мундир
Над старцем, смертью осиянным,
Что в будущем вскипит, взметнется пир,
Куда не суждено быть званым...

Бессильный бард, вернувшись домой,
Забыл об отдыхе, о саде,
Присел к столу, и взял, было, рукой,
Но так и не раскрыл тетради.

Надпись на томике Пушкина.

Теперь навек он мой: вот этот старый, скромный
И как молитвенник переплетенный том.
С любовью тихой, с тревогой неумной
К нему задумчивым склоняюсь я челом.

И первые листы: сияет лоб высокий,
И кудри буйствуют,—а утомленный взор
И слабым почерком начертанные строки
Неуловляемый бросают мне укор.

Томлюсь раскаяньем. Прости, что не умею
Весь мой тебе отдать пустой и шумный день,
Прости, что робок я и перейти не смею
Туда, где носится твоя святая тень.

Венчался Пушкин. Тут лишь понял я,
Что значила тех линий простота,
И свет, и крест, и тихое томлень,
И радость, и предчувствие беды.

... Никитские ворота.

Я вышел к ним, медлительный прохожий.

Ломило обмороженные ноги,

И до обеда было далеко.

И вижу вдруг: в февральскую лазурь

Возносится осеребренный купол,

И тонкая как нитка балюстрада

Овалом узким ограждает крест.

И понял я: мне уходить нельзя

И некуда уйти от этой церкви;

Здесь разгадаю я то, что томило,

Невыразимо нежило меня.

Здесь я забвенный разгадаю сон,

Что мальчиком я многократно видел:

Простые линии в лазури, церковь,

И радость, и предчувствие беды.

И я стоял. И солнце отклонилось.

Газетчик на углу ларек свой запер,-

А тайна непрестанно наплывала

И отлетала снова. А потом

Все это рассказал я другу. Он же

В ответ: А знаешь, в этой самой церкви

Натали.

Наталья Пушкина. Наташа Гончарова.
Ты звонкой девочкой вбежала в дом чужой,
Где грянула в паркет Петровская подкова,
И командор ступал гранитною стопой.

Где обаянием неиз'яснимой власти
Тебя опутала стихов тугая нить,
Где хлынул на тебя самым арабской страсти
И приневоливал его огонь делить.

Как часто полночью, в уюте русской спальной
Ладонь прохладная касалась глаз твоих,
И ты, вприсонках вся внимала песне дальней
О бедном рыцаре в просторах стран чужих.

Головка бедная. Мадонна снеговая.
Шесть лет плененная в святилище камен.
Кто укорит тебя, что молодость живая
Твоя не вынесла любви державной плен.

Пускай разорвана священная завеса,
И ринулись в певца из потрясенной мглы
Мазурки шпорный звон, и тонкий ус Дантеса,
И Кухенрейтера граненные стволы.

Пусть пуля жадная и дымный снег кровавый
У роковых весов склонили острие,
Пускай лишились мы России лучшей славы,
Морошки блюдечко -- прощенье твое.

Наташа милая. Ты радость и страданье.
Ты терн трагический меж пьяных роз венца,
И создано тобой чудесное преданье
О гордой гибели негордого певца.

Могила Баратынского

Я посетил величественный город,
Подземную, безмолвную столицу,
Где каждый дом украшен мавзолеем,
А мавзолей отягощен крестом.

Я проходил по мягкой меди листьев,
Влеклись глаза вдоль твердых барельефов.
И тлела мысль теплом и ломкой болью,
Священные встречая имена.

Но проходил, не замедляя шага.
Меня манил неогражденный камень,
Где иссечен великолепный профиль
Дорически-прекрасного певца.

О чистота всесовершенных линий,
Напрягшихся в певучем равновесьи,
О ясная и умная прохлада
В Финляндии зачатых Пропилей.

О счастья скорбь, томление о Музе,
И мысли боль, и отягченный якорь,
Что подняли марсельские матросы,—
Все в ясности отпечатлелось тут.

Ермолов.

Он откомандовал. В алмазные ножны
Победоносная упряталася шпага.
Довольно. Тридцать лет тяжелый плуг войны
Как вол упорная влекла его отвага.

Пора и отдохнуть. Дорогу молодым.
Немало думано и свершено не мало.
Чечня и Дагестан еще дрожат пред ним,
«Ермоловъ» выбито на крутизнах Дарьяла.

И те же восемь букв летучею хвалой
В Кавказском Пленнике сам Пушкин осеняет.
Чего еще? Теперь Ермолов пьет покой,
В уединении Ермолов отдыхает.

И злость безвластия лишь раз его ожгла
И птицы старости ему лишь раз пропели,
Когда июльским днем с Кавказа весть пришла
О том, что Лермонтов застрелен на дуэли.

Он хрустнул пальцами и над столом поник,
Дыбились волоса, и клокотали брови,
А ночью три строки легло в его дневник:
„ Меня там не было; я бы удвоил крови.

„Убийцу сей же час я бы послал в поход,
„В передовой огонь, в дозоры и патрули,
„Я по хронометру расчислил бы вперед,
„Как долго жить ему до справедливой пули“.

Сяжу, окутан влажной простынею.
Лицо покрыто пеною снеговой.
И тоненьким стальным сверчком стрекочет
Вдоль щек моих источенная бритва.
А за дверьми шумит базар старинный,
Неспешный ветер шевелит солому,
Алеют фески, точно перец красный,
И ослик с коробами спелой сливы
Поник, и тут же старичок-торговец
Ленивое веретено вращает.

Какая глушь. Какая старь. Который
Над нами век проносится? Ужели
В своем движении повторном время
Все теми же путями пробегает?
И вдруг цырульник подает мне тазик,
Свинцовый тазик с выемчатым краем,
Точь в точь такой, как Дон-Кихот когда то
Взял вместо шлема в площадной цырульне.

О нет. Себя не повторяет время.
Пусть все как встарь, но сердце внове немо:
Носильщиком влачит сухое бремя,
Не обрета мечтательного шлема.

Р. В. Ц. (Одесса).

10-я Советская тип., Херсонская, 15. Заказ № 19105. 2000 экз.

1 9 2 1.